



## Слова вразлом

Для некоторого занятого начинания мне пришлось на прошлой неделе записать на листке бумаги имена занимающих меня поэтов, пишущих по-русски.

С изумлением я поняла, что вот уже их тридцать, уже сорок, а я все вспоминаю важные способы письма.

Русскоязычная поэзия сегодня, на мой взгляд, находится в отменной спортивной форме, вполне адекватной выпавшей ей, в принципе невозможной, трагической задаче.

Есть ли у этой поэзии лидеры, короли, вожатые — это вопрос вкуса и идеологии. Вообще для меня вопрос лидерства, позиции начальника поэтов является болезненным, как сыпь, проступающая на руке, как экзема: скажем, хищный опыт карьеростроения Ахматовой, переданный ей Бродскому, представляется крайне вредоносным для осознания поэтического ландшафта, особенно синхронного: в то время, как оптика «победителя» устроена с целью стирания, подавления множественности, именно наслаждение полифонией кажется мне тем, ради чего мы входим в поэзию нашей современности.

И при этом ощущении сложного многоголосия Игорь Булатовский, я вполне в этом убеждена, является сегодня одним из самых мощных, странных, безжалостных и человечных голосов нашей/моей русской поэзии.

Как устроено стихотворение Булатовского? Перед нами сочетание двух данных, двух задач; формальное мастерство его сегодня несравненно, ну или сравнимо с сильнейшими из мастеров: он может построить из слов и звуков все, что угодно, но его задача, построив — разрушить, создать руину, напоминающую нам случай Вагинова, как его описал Бухштаб: «В Вагинове разложение акмеистической системы достигло предела. Не строфы, не двустрочия, но каждое слово отталкивается здесь от

соседнего... <...> Чужие слова, чужие образы, чужие фразы, но все вразлом, но во всем мертвящая своим прикосновением жуткая в своем косноязычии ирония...»<sup>1</sup>

Это воссоздание, поддержание руины имеет традицию: пришедшие после Блока и Мандельштама — Вагинов, Ривин, Гор, Рудаков, Елена Шварц, Юрьев, Стратановский, Зельченко — авторы «ленинградской антологии», описывающие свою цивилизацию на грани или в процессе исчезновения. Настоящая книга Игоря Булатовского — вся о моменте и об осознании конца, который (увы и ах) не есть биологическая смерть пишущего (так как я сейчас занимаюсь исследованием о Варламе Шаламове, Николае Никулине и проблеме «письма с точки зрения доходяги», такая субъективность, оказывается, тоже возможна: можно писать и о своей смерти в момент смерти...), но, для Булатовского, принципиальнее момент, когда поэт, поэтическая машина понимает/осознает свою бессмысленность... и все же продолжает работать. Перед нами книга о перерождении в существо виновное, в *abject* языка, перед нами книга поэта, принимающего на себя позор своего языка — то есть в высшей степени о нашем состоянии сегодня.

Если бы меня спросили, каково самое важное для меня стихотворение последнего времени об отношении пишущего со своим временем, я бы выбрала это:

*...можно костями в эту музыку лечь  
рядом с огромной мужичкой  
и по одной в ее жаркую печь  
и по одной в ее жадную печь  
косточки спичку за спичкой  
будет и охать она и стонать  
брюхом тебя прижимая*

<sup>1</sup> *Бухштаб* Б. Вагинов // Тыняновский сборник. Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 271–277 (<https://rvb.ru/20vek/vaginov/ps/addenda/02/027.html>).

родина-баба етить твою мать  
 родина-баба эдипова мать  
 к травке червивого рая  
 на спину ей будет капать слюной  
 полной разумного яда  
 желтый ублюдок родимый родной  
 желтый ублюдок ваш общий родной  
 с облачка доброго ада  
 ну а когда до последней дойдет  
 косточки точки бороздки  
 вытрет пьеро окровавленный рот  
 вытрет пьеро намалеванный рот  
 юшку сморкнет на подмостки

Текст о песенках Пьеро/Вертинского, бежавшего из объятий Дитрих в объятия Сталина, чтобы песенки эти оглашали, утешали чудовищную Родину. Текст о том, что остается от певца, от сказки потом, после того, как ее рассказали. У голоса, который воссоздает Булатовский, есть безошибочно опознаваемый аффективный силуэт — это голос, внутренний мир человека в отвращении: от своей истории и от своего места в ней.

Послушай же холод под сводом ребра:  
 там вертится черный бесенок оф-бита.  
 И сделай лицо, будто это игра  
 и — что там?.. — ну, будто бы почка отбита...

И песня все та же, а в ней сатана  
 дрожит на холеные целые ноты;  
 и тихо ее напевает страна,  
 несущая бремя любви и заботы.

Красота и отвращение постоянно соединены в этих текстах, что опять же приводит на ум руину.

В некоторых теоретических построениях это и есть Sublime, Возвышенное, но особого рода — описанное Хэрриет Мурав, Леоной Токер и ВПС: это возвышенное

Советского века, но можно сказать, что Булатовский описывает состояние человека, обнаружившего, что Советский век-зомби звонит в дверь дважды.

Все, что мы (о сколь наивно!) полагали отчужденным, отдаленным, заключенным в саркофаг, ожило гниющее/недогнившее, полное страсти: запятнать сожрать все живое своим страшным «можем повторить». Это стихи об осознании лишения агентности, о бессилии, о поражении:

*Скорей, родная, пока не закончилось,  
иди сюда, посмотри,  
что они делают с нами!*

*Теребят, вертят, как брелочки,  
перебирают, накручивают, как цепочки,  
слегонца подбрасывают, как монетки,  
взяв между большим и указательным,  
подносят к носу, поцарапывают ногтем,  
взвешивают, как свою мошонку;  
вставив между указательным и средним,  
трясут, как дешевой авторучкой,  
сворачивают, как проездной билетик,  
в острую трубочку и ковыряют в зубах,  
мусолят, мусолят, не знают, выбросить  
или оставить: мы надоели, но, в общем,  
снимаем нервное напряжение.*

*Ну вот, родная, ты всё пропустила!  
А было так забавно!  
И видно было как на ладони!*

*Мы корчились, крутились, вертелись,  
растягивались и сжимались,  
подергивались, тряслись, дрожали,  
сморщивались и разглаживались,  
раздувались, подпрыгивали, плясали,  
перепутывались и комкались,  
продевались друг в друга, вились,*

*расхлопывались и схлопывались,  
трещали, хрустели, дребезжали,  
кляцали, скрипели, повизгивали,  
скулили, воняли, истекали, сочились,  
терпели, терпели, не знали, умереть  
или жить: все надоело, но, в общем,  
оставляло некоторую надежду...*

Именно вопрос залога: можем ли мы позволить себе сегодня хоть что-то, кроме пассивности (в английской грамматике есть разительный термин: *Passive voice*, пассивный голос). И есть ли у пассивности, исторической, политической, социальной — свой голос? Или голос, производимый сейчас стихами Булатовского, это голос отращения при осознании собственной пассивности, голос в поисках выхода из, ухода от нее?

Стоит ли говорить, что Булатовский — поэт ученый (как М. Г. Гаспаров описывал, например, Катулла), и перед нами стихи разочарования в знании, поражения знания в правах, но все же, если что-то поэту-знайке и оставляет «некоторую надежду», то это именно способность служить другим, чужим текстам. Если уж речь идет, в частности, о мастерстве, мне кажется, что одной из составляющих мастерства, то есть яростного служения некоторому ремеслу при наличии физиологических данных, является момент, когда мастер выходит из себя, начинает множить грани умения: Булатовский делает это как издатель и переводчик.

Переводчик, в частности, Шарля Бодлера, то есть интенции писать свое «сегодня», смотреть прямо, не отворачиваясь. Программным здесь является текст Бодлера «Падаль», описывающий прогулку с возлюбленной, во время которой взгляд поэта/гуляки падает на разлагающийся труп. И этот труп, вернее процесс разложения, вернее задача описания разложения, возбуждает гуляку и вызывает в нем шедевр мировой лирики.

Наверное, самое важное для меня в этой книге — интенция не отворачиваться от отвратительно, писать именно его.

Прекрасны и невыносимы, безобразны, почти тошнотворны эти слова:

*реки меня сестра  
сестра моя река  
река моя сестра*

*что надо знать когда  
речешь меня черна  
смородиновая*

*на родине огня  
всё меньше нет огня  
на родине огня*

*сестра моя рембо  
нам сделали бобо  
подуем ничего*

*сестра моя ребро  
нам не было темно  
не будет и светло*

*на смброде-реке  
мы смолоду хехе  
сидели как в яйце*

*а рядом во дворце  
сидела смерть в парче  
держала мух в руке*

Здесь можно услышать скороговорку Гора:

*Ручей уставши от речей  
Сказал воде что он ничей.  
Вода уставшая молчать  
Вдруг снова начала кричать.*

(1942)

И можно, вслед тому же Гору, различить здесь особый Эрос — притяжения и отталкивания к своему, которое причиняет столько боли и стыда, но уйти от которого все равно нельзя.

Если уж говорить о риторических категориях, помимо особой Возвышенности исторического безобразия, эти стихи полны гротеска. В самых волнительных местах, как гной, на тебя проливается матерок, слово изменяет себе с собой же: все здесь воспалено, вывернуто, искажено.

И да, в завершение нашей вводной экскурсии, отметим: в этих стихах есть место городу:

*По набережной, где чайки кричат,  
где волны похожи на серых волчат,  
бегущих на Заячий остров,  
поедем, красотка, к тебе и ко мне  
пока мы на этой живем стороне,  
а в той лишь нуждаемся остро.*

*На летней дуге Кресты–Ниенишанц  
ты дашь мне, старушка, еще один шанс  
тебя обогнать, предпоследний...  
Смотри, как сирени стреляют во тьму —  
по жизни, по нам, по душе, по уму,  
по музыке велосипедной!*

Это тот самый город, породивший и в Советском веке свою особую поэзию, поэзию игры в прятки, в жмурки, в поддавки с историей. Ни у кого из тех горожан не получилось толком спрятаться от своего Города, не получилось уйти от него. Мне кажется, человеку вообще не так далеко удается уйти от своей любви, хотя можно попытаться найти ее предел, край, конец и начало: город ПБ (как называл его царь Петр) до 1703 года, или после 2022-го.

Я бы хотела закончить свои заметки об этой книжке своей любимой фразой о людях, дорогих и мне и поэту,

о котором я имею честь говорить: уже после всего, после отползания из блокадного города, Павел Зальцман приходит в гости к Татьяне Глебовой, он рассматривает ее работы и записывает в дневнике: «Вещи Татьяны Николаевны, на этот раз ее знакомые сочетания, внешне злые и очень недурные, особенно по цвету, с обычной гадливостью, но и отсутствием брезгливости».

Вещи Игоря можно было бы описать ровно в тех же словах: и еще—обладающие властью, несущие горькую, жалкую, необходимую мне сегодня радость.

*Полина Барскова*